

## Самый страшный день

*А среди гостей моих  
горе да печаль.  
И со мною мой отец,  
и со мною брат...*

*А.Тарковский*

*Все души милых на высоких звёздах...*

*А.Ахматова*

Как-то, разбирая свои старые тетради и дневники, я натолкнулась на одну запись. Она была датирована 19 июля 1969 года и состояла из заголовка и одной фразы:

*"Самый страшный день в моей жизни.*

*Я буду писать просто и объективно, как Горький".*

На этом запись обрывалась. Не получилось, как у Горького, — просто и объективно. Не хватило сил. Не поднялась рука. С тех пор прошло 30 лет. Но я помню его до мелочей — этот день. Много чего было за эти годы, но он и сейчас — самый страшный.

Память кружит вокруг да около, никак не решаясь прикоснуться к самому эпицентру раны. Больно. До сих пор. Как это у Вадима Крейда?

Наподобие игрушечного водолаза  
погружаюсь в воды, не знавшие влаги.  
Это только начало рассказа,  
дописать который не хватит отваги.

Помню деревню Каменку, куда мама отвезла нас с бабушкой сразу после похорон. Чтобы отвлечь "переменной обстановки". Там была жуткая тоска, в этой безлюдной, богом забытой деревне. Всё только обострилось. Бабушка плакала и кричала маме: "Ты что, на смерть меня сюда привезла?" Она любила Лёвку больше всех. На кладбище билась о гроб головой: "Положите меня вместе!" Каждый день ездила к нему на могилу. Там ей становилось легче.

В этой Каменке на рассвете мне приснился сон, который меня так поразил, что я его даже записала. Будто бы у нас много-много народу, все что-то кричат, шумят, выгоняют из дома каких-то собак. Смеются. Кажется, какой-то праздник. И вдруг в толпе я вижу Лёвку. Я смотрю на него во все глаза. Ка-ак?! Ведь он же умер... Хочется подбежать, затормозить, расспросить. Но в последнюю минуту мне кажется дико неприличным спрашивать: "Почему ты здесь, ведь тебя же нет?" И я успокаиваю себя: ведь никто же не удивляется, значит, так надо. Может быть, он и не умирал вовсе. Может быть, мне всё это только приснилось? Разглядывая его, я заметила, что у него нет кисти левой

руки. Ну как же, — вспомнила я, — ведь её отрезало поездом. Так значит, это правда? Значит, он всё-таки умирал?

А лицо у него было каким-то другим — возмужавшим, мужественным. Черты лица определились, стали твёрже, решительней. Я была рада: мне всегда хотелось его видеть именно таким. Настоящим мужчиной. Я смотрела на него — там, во сне — долго-долго, мне как будто было тревожно чего-то, хотелось запомнить его лицо, словно я боялась, что он вот-вот опять исчезнет куда-то. А потом я взяла листок и написала: "Как ты похорошел после... — я не знала, как правильно: "воскрешения" или "воскресения", и написала: "после того, как ты воскрес". И тут мне ужасно нелепым и смешным показалось это слово. "Воскрес"! Фу! Как Иисус Христос! Я расхохоталась и... проснулась.

За окном лил дождь. Раньше — это было довольно часто — мне снились сны об одном мальчике. Это была школьная, ещё полудетская любовь. То — будто я достаю из почтового ящика его письмо, читаю — и не верю своим глазам, то — будто он смотрит на меня так, как мне бы хотелось, говорит какие-то особенные долгожданные слова. И там, во сне, я всегда говорила кому-то, торжествуя: "Вот видишь, видишь, ведь настала же наконец эта минута! Ведь есть же на свете справедливость! И счастье есть..." А потом было пробуждение, как насмешка. И я вспоминала, что ничего этого не было и нет, что все письма его сухие или ироничные, и никогда он не говорил мне никаких особенных слов и скорее всего не скажет, и что нет никакой высшей справедливости, а счастье бывает только во сне... И было всегда такое душное отчаяние после этих снов, и так хотелось плакать, и грызть зубами подушку, и рвать её на клочки, словно она была в чём-то виновата, но ведь был же кто-то в этом виноват! — и мысленно кричать этой подушке, накрывшись одеялом с головой: "Отдай, отдай мне мой сон! Это всё, что у меня осталось..."

Но тогда это было каким-то полудетским, полувыдуманым, а теперь — настоящее, большое горе, такое большое, что оно не вмещается, и я никак не могу понять его до конца, хотя прошло уже два с половиной месяца. Кажется, вот-вот... ещё совсем немножко осталось, и я его окончательно пойму, и тогда будет очень-очень страшно. Страшней, чем в тот день, когда я возвращалась домой и увидела маму у троллейбусной остановки с заплаканными глазами.

Это был самый обыкновенный день. Ни у кого не было никаких предчувствий. В школе Дагмара хвалила меня за сочинение о Достоевском. Я обещала дать его почитать Лёвке. Потом нужно было занести книжку Верке. Я возвращалась домой очень весёлая. Капал небольшой дождик. Я даже помню, о чём я думала тогда: об Олежке. Я видела, как он проехал мимо не мопеде и обернулся на меня, и тотчас представила себя рядом с ним. Свистит ветер в ушах, а мы летим, летим... "Не боишься?" — спрашивает он меня громко, потому что ничего не слышно из-за ветра. "Не-ет! — кричу я. — Ни капельки!" — а сама прижимаюсь к нему крепче — от страха. "С ветерком!" — смеётся он... И вдруг я увидела заплаканную маму у остановки. "Наташа, мужайся, — сказала она. — Лёвочка умер. Он в морге". И вдруг что-то лопнуло в небе:

полил страшный дождь... Это было 30 мая 1969 года.

В первую минуту я подумала, что он отравился. Сразу представилось, как он лежит где-нибудь на берегу Волги, странно тихий, с вытянутыми вдоль тела руками и смотрит ввысь... А рядом валяется пустая склянка. Мама плакала, лил дождь. А я всё ещё не понимала. Мы стояли мокрые, жалкие, и ждали такси, а вокруг спешили люди, и никому не было дела, что мы тут стоим, и что его больше нет и никогда уже не будет... Я спрятала лицо в книгу, чтобы не было видно прохожим, и заревела во весь голос. Нужно было успокаивать маму, а я редела сама.

А потом я всё узнала. Пока меня не было, мама звонила во все больницы, потому что Лёвка ушёл утром купить газету, даже не позавтракав, и его не было до сих пор. В больницах его не было. Тогда мама набрала номер морга. Бабушка даже руками на неё замахала. Но мама всё-таки спросила — на всякий случай, — не поступал ли кто сегодня? Оказалось, что поступал: "мужчина лет двадцати восьми". Почти успокоившись, — Лёвка ведь намного моложе — она спросила, опять-таки на всякий случай, — в чём он одет? Ей ответили: "тёмные брюки, коричневые ботинки, светло-коричневая рубашка". Тогда она как закричит: "Да это же мой сын!"

Помню мрачные стены морга. Вынесли окровавленную Лёвкину одежду. Майка была из двух половинок: перерезана пополам. Маму отпаивали какой-то чёрной жидкостью. Помню как в тумане: санитары пришивали Лёвкину голову. Она была пришита криво. Санитары говорили о чём-то между собой и смеялись. Они СМЕЯЛИСЬ.

Помню его в гробу. На лбу была глубокая багровая ссадина, похожая на вопросительный знак. В голове тупо стучали строчки популярной тогда песни:

А поезд, длинный, большой чудак,  
изгибаясь, твердит вопрос:  
что-то, что-то не так, не так,  
что-то не удалось.



Ему был всего 21 год. Остался дневник, который он вёл тайком от всех. Я его знаю уже почти наизусть, но снова и снова перечитываю эти листочки, силясь разгадать тайну, проникнуть в потёмки такой родной и такой чужой души.

Ухватишь — Бог тебе судья —  
за безымянный край сей...  
Но в сердцевину бытия  
проникнуть не пытайся.

Там скалит зубы дикий зверь,  
там бездны и пучины.  
Скрипит заржавленная дверь  
под слоем паутины...

*"30 января 1969 года. Бабушка испекла блинов. Я записал, как мама с Нанкой пели, на магнитофон. И все, когда слушали, смеялись..."* Достать бы эту запись, послушать. Ничего не помню. Нет давно уже того магнитофона, "Днепра" первого выпуска, нет бабушки, нет Лёвки, ничего нет... Где сейчас тот мир — простой, беззаботный, безоблачный? Куда всё уходит?

*"8 февраля. Только что закончил читать книгу "Мартин Иден" Джека Лондона. Здорово. До сих пор под впечатлением. Какая воля к жизни! Я просто дышу тем, что прочитал. Никак не решусь положить её опять в шкаф".*

*"Каждый день отрываю листок календаря и внимательно изучаю его: не написано ли там сегодня чего-то, что подскажет мне, как жить дальше".*

*"Перефразируя Есенина, могу сказать: "Годы молодые с забубённой славой, отравил я сам вас горькою отравой". Конечно, забубённой славы не было, была, наверное, какая-то другая. До чего же хорошие стихи:*

*Как случилось-стало — сам не понимаю.  
Ночью мокрую подушку к сердцу прижимаю."*

*"Что со мной творится? Куда я качусь "по наклонной плоскости", как говорит отец? Не знаю".*

Он пытался убежать от себя, от чего-то в себе. Однажды уехал, никому ничего не сказав, в Петровск. Не доехал, вернулся. Почему в Петровск, к кому? Никто толком не знает. Потом я нашла его письмо к брату отца в Абакан. Лёвка писал, что хочет уехать, начать жить самостоятельно, и просил у него разрешения пожить два-три дня, пока устроится в общежитие. Письмо осталось неотправленным.

*"Я как-то теряю мужество, что ли... Ничего почти мужского нету".* Может быть, он решил что-то доказать себе и другим? Какой ад творился в его душе? Очевидцы видели, как он бросился с разбегу на полотно, вытянув руки

вперёд перед собой ладонями вместе, как в воду нырнул с обрыва. Поезд долго тащил его за собой.

*"Я стал слушать песни Высоцкого:*

*А счётчик щёлк да щёлк, и всё равно  
в конце пути придётся рассчитаться..."*

Кольцо сужается. Вот сейчас эта последняя запись, от которой, как петлёй, перехватывает горло...

*"Завтра начинается новая жизнь, если всё уладится с работой. Так бы хорошо было, если бы удалось!"* И приписка: *"Что день грядущий мне готовит?"*



Помню, он часто, как будто в шутку, любил напевать заунывную, щемящую песню из старого фильма:

Вот умру я, умру,  
похоронят меня,  
и никто не узнает,  
где могилка моя.  
И никто на могилку  
на мою не придёт.  
Только раннею весною  
соловей пропоёт.

Дурачась, спрашивал: "Ты будешь ко мне на могилку приходить?" Я только фыркала в ответ. А он поворачивал меня к себе лицом и допытывался: "Будешь?"

Я долго к нему не приходила. Учёба, работа — жизнь брала своё. И вдруг почувствовала неодолимую потребность прийти. Словно он позвал меня оттуда. Я не помнила точно, где его могила, у меня в руках была бумажка с планом, но я даже не заглянула в неё. Я была уверена, что найду так, каким-то чутьём искала, как зверь по запаху. Вот здесь... где-то здесь... уже тепло... горячее... Словно чувствовала рядом живое тепло, тепло его души. Я кружила на маленьком пяточке, как магнитом неуклонно притягиваемая к тому месту — это было почти физическое ощущение. И вот наконец его лицо на цветном фотоснимке выглянуло из зелени ветвей — чуть грустно улыбающееся, как будто он окликнул: "Эй, ты, здравствуй!" Мы ходили когда-то с ним в ТЮЗ на этот спектакль. Я обняла прутья ограды, словно его за плечи, и заплакала. Мы стояли с ним молча. Нас было двое. Это была минута, когда я ощутила его живым.

Откуда ты? ты разве жив ещё?  
Ещё ты дышишь, ходишь, существуешь?  
Из зарослей, из памяти трущоб  
я думала, умершую — живую! —  
ты вытащил. Я снова — как тогда...  
за гранью лет, веков, родимой речи...  
И время, словно тёмная вода,  
несёт, несёт меня к тебе навстречу.





Он улыбался мне с памятника. Здравствуй. Вот мы и встретились. Как тебе тут? Одиноко? Столько всего без тебя случилось, сразу и не расскажешь. А может быть, ты и так всё знаешь? Может быть, видишь меня сейчас?

Как мало людей осталось, кто помнит меня маленькой. И никто не назовёт уже меня, как ты, Нанкой. "Нанка, в школу не опоздай!" — весело крикнул он мне в тот день, уходя. Он уходил в вечность. А я, что-то буркнув, повернулась на другой бок. На урок я не опоздала. Опоздала на жизнь. Почему никто не встретился, не задержал тебя? Почему ничего не было написано на том проклятом календаре, что бы тебя удержало? Почему не вспомнился тебе в ту минуту твой любимый Мартин Иден с его неукротимой жаждой жизни? Почему? Почему? Почему?!

Спешу я к родной могилке  
исхоженной тропой.  
Тринадцатая развилка  
от будки сторожевой.

Очищу литьё от сажи,  
надгробие приберу.  
Как будто лицо поглажу  
и лоб тебе оботру.

И мертвецу надо ласки,  
как дереву и птенцу.  
Анютины светят глазки.  
Они тебе так к лицу.

А небо с чутьём вселенским  
заплакало вдруг навзрыд  
над кладбищем Воскресенским,  
где брат мой родной зарыт.



В него была влюблена одна девчонка с нашего двора. Людка-балерина. Она училась в балетной школе и придумывала для меня танцы, с которыми я выступала в нашем дворовом клубе на детской площадке. Людка была неистощимой выдумщицей, мечтательницей и фантазёркой. Она мне часто рассказывала историю, как Лёвка спас её от хулиганов. Это было поздно вечером во дворе. К ней пристали незнакомые ребята, а брат будто бы увидел, подошёл и сказал: "А ну не трогайте её!" И хулиганы расступились. Всё в этой истории было для меня сомнительно. Сказать так, конечно, Лёвка — под влиянием порыва — мог. Он рос книжным мальчиком, наивным романтиком, но вот утратить хулиганов — вряд ли. Драться не умел. Вид имел домашнего маменькиного сынка. Сам он эту историю не помнил. Но Людка рассказывала мне её уже в сотый раз с таким упоением, всякий раз украшая всё новыми и новыми подробностями, с горящими глазами изображая в лицах: вот так он подошёл, вот так поднял руку (она изображала предостерегающий жест), и грозным голосом басила: "А ну! Отойдите от неё, вы!" — и блаженно, восторженно улыбалась. Если не знать Лёвки, можно было подумать, что это какой-то Лимонадный Джо из ковбойского фильма.

Я пыталась осторожно внушить брату мысль о необходимости обратить внимание на сохнущую по нему Людку, но он только смущённо фыркнул: "Если она меня так любит — пусть даст 10 копеек на ситро". Ей я, конечно, этих дурацких незрелых слов не передавала.

Он был очень робок и незащищён изнутри. И, как шитом, неумело прикрывался этой мальчишеской грубоватой бравадой. Где-то сейчас твоя Людка? Вспоминает ли о тебе?

Помню, как ты повёл меня впервые в кино. В старый "Пионер". Это был фильм про Синдбада-морехода. Мне было шесть лет. Когда появился циклоп во весь экран, я от ужаса закричала и вцепилась в твою руку. До сих пор помню это жуткое циклопье лицо с одним глазом. Бр-р!

Помню, как ты катал меня на санях по заснеженной Ульяновской. Это были не обычные детские санки, а старинные сани, бог весть с каких древних времён уцелевшие в чулане — с узорной чугунной спинкой, массивные, удобные, в них можно было развалиться барыней, этакой боярыней Морозовой, устроившись уютно, как в гнёздышке, укутавшись до бровей тёплым пледом. Искристый снег слепил лицо, я кричала тебе: "Быстрее!" — и ты бежал в своей развевающейся старенькой ушанке, рассекая снег и ветер, бежал всё быстрее и быстрее, навстречу своей судьбе. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Глядя на звёздный улей,  
сладко глаза смежить.  
Мгла опустевших улиц.  
Жизни, уставшие жить...  
Жаждет душа ночлега.  
На рубеже веков



тихо лежать под снегом.  
Смерти крыло легко.  
Где вы, любимые прежде?  
Тонет в пустыне глас.  
Бог не ответил надежде.  
Ангел покинул нас.



Я лежала на санках и смотрела в небо, где роились звёзды. Я как будто впервые их тогда увидела. И почему-то подумала: "Эту минуту я запомню на всю жизнь". Как будто кто-то оттуда мне это сказал. Я тогда впервые, казалось, начала понимать звёзды. Что-то там, за этими "плевочками", есть... Но они не открылись мне до конца. Какая-то непримиримость во мне мешала. Я не хотела отдавать им ничего из своего земного. "А в наши дни и воздух пахнет смертью..." Они смотрели на меня холодно и враждебно. Где-то там начертана вся моя жизнь. Что же будет, что со мной будет? Я чувствовала, что им это известно. Что день грядущий мне готовит?.. С этой минуты пошёл какой-то иной отсчёт времени.

Не могу без содрогания  
видеть звёздные миры.  
Души милых в бездну канули,  
в пасть неведомой дыры.

Так зловеще, непрощающе  
ледяной струится свет.

Механически вращаются  
мёртвые тела планет.

Не найти душе обители  
в пустоте бездушных сфер.  
Где вы, ангелы-хранители?  
Миром правит Люцифер.



Какая короткая была у тебя жизнь. Какой страшный конец. Помню, однажды, лет в тринадцать, что-то нашло на меня, я была дома одна и так безудержно плакала, так долго безутешно рыдала — сама не зная о чём, без всякой причины. Было чувство страха перед будущим, перед чем-то непостижимым, неизвестным. Я как будто оплакивала заранее свою будущую жизнь. Будто предчувствовала, что страшное вот-вот наступит. Самый страшный день в моей жизни.



Что нас держит в сем мире утробном?  
Нет ни пряника и ни кнута.  
Крышка неба над городом-гробом,  
а за ней — пустота, пустота.

Горький голод по кличу, по зову  
птичьим клином врезается ввысь.  
Сиротливое съёжилось слово,  
и в беспамятстве мечется мысль.

Словно поезд, судьба просвистела.  
Пепелище на месте огня.  
Скалит зубы рассвет пустотелый,  
гложет холод грядущего дня.

Это грусти с закатом в полнеба,  
что горит над моей головой,  
на весь мир бы хватило вполне бы,  
и ещё бы осталось с лихвой.